

Искусство плыть против течения

Ловлей угря мы занимались в основном в июле и августе. Никогда раньше дня солнцестояния. «Смысла нет, — говорил папа. — Слишком светло, угорь не клюет. Нужно дождаться темноты».

Он часто говорил об «угрёвой тьме», когда ночи черные, а угорь наглеет и то ли от жажды приключений, то ли по неосмотрительности своей становится добычей человека.

Само собой, папа понимал ситуацию неправильно. Или просто решил верить в свою собственную правду, поскольку она немного облегчала жизнь.

Существует настоящая «угрёвая тьма», которая наступает в конце лета и продолжается несколько месяцев, когда взрослый угорь начинает миграцию в сторону Саргассова моря и дает заманить себя в рыболовные снасти вдоль побережья. Наша «угрёвая тьма» была иного рода. Она наступала тогда, когда папе давали отпуск и он мог без особых потерь проводить ночи у реки, а не в постели.

Всю свою жизнь отец работал. Сколько я себя помню — и еще немало лет до того, — он укладывал асфальт. Каждое утро он вставал еще до шести, выпивал кофе, съедал бутерброды и около семи уже был на работе. Он входил в бригаду, которая, пользуясь относительной свободой, ездил по заказам и укладывала асфальт, обустроивая новые дороги или ремонтируя старые. Работа была тяжелая, горячая и дымная: кто-то вел большую машину, распределявшую асфальт на подготовленной поверхности, а кому-то приходилось идти сзади, со штыковой или совковой лопатой, в туче смолы и сажи. Работали они сдельно, и каждый шаг, каждый взмах лопатой выражался в заработанных кронах. С семи они трудились до обеда — кофе и бутерброды в бытовке, — а после обеда до четырех часов, если не наваливалось столько работы, что приходилось вкалывать сверхурочно.

В половине пятого он обычно приходил домой, снимал грязную рабочую одежду и валился на кровать, разгоряченный и потный, совершенно измотанный. Можно было зайти к нему в комнату, но он был неразговорчив. «Мне нужно немного отдохнуть». Иногда он даже засыпал, но через полчаса все равно вставал к ужину и проводил остаток дня на ногах.

Работа была не просто заработком — она стала неотъемлемой частью его личности: она убивала его, но и делала его выносливее, придавала ему форму и окрас. Он был крупным мужчиной — не то чтобы необычно высокого роста, но с широкими плечами и мускулистый, жилистый и сильный. Бицепсы у него были мощные и твердые — я не мог обхватить их пальцами обеих рук. Летом он работал с обнаженным торсом и загорал до состояния темной ржавчины, а бледная

татуировка на руке, простой якорь, становилась почти незаметной. (Татуировкой он обзавелся еще до наступления совершеннолетия, напившись и заплутав в районе Нюхавн в Копенгагене, а почему он выбрал именно якорь, он и сам не знал, и на море-то никогда не был.) Ладони у него были огромные, грубые, с толстой, словно продубленной, кожей. Один мизинец отсутствовал: он ломал его несколько раз, и в конце концов тот замер в скрюченном положении, как ястребиный коготь. Папа попросил врача удалить его, что тот и сделал.

Во всей его фигуре ощущались десятилетия физического труда, и это было видно невооруженным глазом. Горячий обжигающий асфальт, который он каждый день носил, разгребал лопатой и ровнял, как будто впечатался в его кожу. От него сильно пахло смолой, даже когда он, помывшись, переодевался в другую одежду. Это был его отличительный признак, говоривший о принадлежности к определенному классу.

Когда мы ехали на машине, он мог ткнуть пальцем в заасфальтированную улицу и сказать: «Эту улицу я мостил». Свою работу он любил и мог почти что — если его хорошенько прижать — признаться, что умеет делать ее хорошо. Его профессиональная гордость была ясной и общечеловеческой, рождавшейся от сознания того, что владеешь ремеслом, которым мало кто владеет, что оно созидательно и обладает ценностью в глазах других людей.

Но в душе он чувствовал себя не только и не столько дорожным рабочим. Профессия оставалась лишь словом. Рассказывая о себе, он сообщал, что он рабочий, — именно так он себя и воспринимал. К тому же он, похоже, не сам выбрал

эту колею. Рабочим он был с рождения, и эта идентичность досталась ему по наследству. Он был рабочим, потому что некая мощная сила выбрала ему эту стезю. Путь с самого начала был прочерчен на карте.

Но если таково было его наследие, что тогда унаследовал я? Может быть — и тут содержится крошечный и едва заметный сдвиг между поколениями, невысказанный, но явный посыл: нет, ты не можешь выбрать любой путь по своему желанию, и времени у тебя куда меньше, чем ты думаешь, но все же ты свободен и можешь попробовать.



Во время отцовского отпуска случалось, что мы ехали к реке днем, когда было еще совсем светло. Над водой вместо летучих мышей кружились ласточки, издалека почти неотличимые, но движущиеся совершенно по-другому. Солнце отражалось в воде, а высокая трава, сухая и жесткая, качалась на ветру.

Однажды вечером мы стояли возле ивы чуть ниже порога.

— Ты можешь переплыть реку в этом месте? — спросил папа.

— Ясное дело, могу.

— Получишь десятку, если переплывешь точно поперек.

— Запросто.

— Но ты должен плыть точно поперек течения, не поддаваясь ему. Если тебе удастся переплыть прямо, не дав течению унести тебя, получишь десять крон.

Я разделся и вошел в воду. Она была холодная и грязная; я заколебался.

— Вот туда, — указал рукой папа. — Напрямую через реку, от этого дерева до камня на другой стороне.

Я зашел глубже в воду и поплыл, и первые метра два все шло хорошо. Я высоко держал голову, ориентируясь на камень на другом берегу. Цель не казалась недостижимой. Но потом я выплыл на середину реки, где течение приобретало силу, и оно подхватило меня, как рука смахивает крошки со стола. Вода потащила меня прочь, я окунулся с головой, хлебнул воды и закашлялся, прежде чем мне удалось повернуться в нужном направлении. На несколько секунд я неподвижно замер посреди реки, словно лодка на якорю, хотя на самом деле остервенело греб против течения. Внезапно я почувствовал, как течение подхватило и понесло меня, так что я изо всех сил кинулся к суше на другой стороне. Выбравшись из воды на дрожащих ногах, я увидел, что нахожусь на четыре-пять метров ниже камня.

Стоя на другом берегу, папа смеялся и показывал пальцем.

— У тебя есть еще одна попытка. Ты же должен вернуться обратно.

— А ты не можешь забрать меня на лодке? — крикнул я ему.

— Нет-нет. Давай. Прямо поперек реки.

Я подошел к камню, отряхнул мышцы от молочной кислоты и снова вошел в воду. На этот раз я сразу повернул против течения и поплыл изо всех сил; с разгона мне удалось проплыть несколько метров наискосок против течения. Какие-то мгновения я находился даже выше ивы на другом берегу,

но тут река поняла, что происходит, и, заключив меня в свои мощные объятия, повлекла вниз по течению. Мне все же удалось добраться до берега, где я зацепился за ветку и выкарабкался на сушу, всего на метр ниже ивы.

— Близко; я и не думал, что у тебя получится, — сказал папа и повернулся, чтобы принести рыболовные снасти.

Я остался стоять, обсыхая в последних лучах солнца. Когда он вернулся, я оделся, и мы молча прошли вдоль реки к узкой косе, где стали ловить рыбу удочками в ожидании, когда придет время ставить перемёты. Я поймал маленького окуня, который так неудачно заглотил крючок, что нам пришлось свернуть ему шею, и папа предложил использовать его в качестве наживки. Когда солнце начало гаснуть, над нашими головами быстро и бесшумно пронеслась летучая мышь.

— Пора, — сказал папа.

Десяти крон я, конечно же, не увидел как своих ушей.